

Наташа Гринь
АПОПТОЗ

роман

Моей семье

L'homme né de la femme! Sa vie est
courte, sans cesse agitée.

Il naît, il est coupé comme une fleur;

Il fuit et disparaît comme une ombre.

Job 14:1-2

ЗАПУСК

Всю ночь я ела апельсины. Немытые, взрезала им пупок тупым ножом, руками разламывала на части, выгибала их спину и с силой тянула сочную мякоть. По рукам кровью бежал холодный сок, повисал на локтях. Губы пульсировали, в уголках приятно щипало. Обезвоженные мешочки знакомо застревали в зубах. Я цепляла их ногтями. Кидала рваные корки прямо под ноги, на пол, мне так хотелось. Покончив с одним, кусала липкую кожу ладоней, оставляя на ней влажно-горячий след поцелуя, и принималась за следующий плод. Я ела жадно, истерично, по-мужски. Когда устала, бросила нож в апельсиновую лужу и, продавив корки пальцами ног, прошла в спальню. Усевшись на кровать, отряхнула апелькистями апельступни. Налипшие крошки с волосами слышно посыпались на ламинат. Я спала хорошо. Мне снился знакомый, который пытался меня изнасиловать.

Утром я обнаружила в кухонной раковине огромного, пружинистого паука. Я боюсь пауков. Мне хотелось по привычке закричать, но момент был упущен, и я промолчала. Просто стояла и смотрела на эту мерзость, испытывая удовольствие от негомого, сдерживаемого страха. Достала стакан, зачем-то продула пыль, перевернула дном вверх и накрыла им мертво-живую серость. Паук не дернулся. У меня в

голове тогда кто-то скучающе произнес — вот оно, значит, как — под стеклянным колпаком.

Рядом на столешнице прела грязная вчерашняя посуда, ее надо помыть, а иначе — опять ругань с сестрой и чистоплотный террор. Мой прикроватный столик, где вечно все навалено, сестра называет «паучий угол». В тот момент мне показалось это забавным. Я включила воду, увела кран влево, подальше от заключенного, смочила губку, выдавила средство для мытья посуды. Пожамкала. Мыла тарелки не глядя, наблюдала за пауком. Ничего, все так же бездвижен. Неровные брызги летели на стенки стакана, скапливались на дне, который теперь верх, сливались в маленькие лужи и текли вниз. А сквозь толщу стекла на это все смотрела проволочная убийца, подначивавшая во мне утробный, межреберный страх.

Отец учил нас с детства, что дьявол боится смеха. Хочешь перестать чего-то бояться — просто над этим посмейся. Но, конечно, тогда он еще не знал, что страх пауков и змей у человека врожденный. Да и если начистоту — смех убить не может, он может только придавить. Я видела, как внутреннее стекло начало потихоньку запотевать. Вспомнила отца и постаралась представить, что у этой страхолюдины там приступ астмы или прогрев двигателя. Сработало не особенно. Я подумала, может ли он умереть от фейри или нет. И специально стянула губковый корсет прямо над ста-

каном. Потом опустила кран, смахнула воду с тарелок и вытерла руки сырым полотенцем с кислым запахом.

Я вернулась на кухню через час. Живой. Твою мать. Наверное, надо было подсунуть бумагу, достать его из раковины, в окно выкинуть или вынести на улицу. Так все хорошие люди обычно делают. А я, я — хороший человек? Можно ли хорошим людям бояться пауков, накрывать их стаканом и ждать, пока они там умрут? Я не хотела об этом думать, не хотела ничего решать — ни за зверюгу, ни за себя. Ничего, потерпит. Я же терплю как-то, я же терплю. Уже двадцать с лишним чем-то набитых лет терплю этот неколпаковский колпак, вот и эта мразь потерпит.

Душный подъезд выплюнул меня на улицу в половине какого-то. Пахло Москвой и дынями. Приподъездная клумба стыла, как свежая могила. Это, наверное, Баадер — Майнхоф. Я ведь постоянно про нее думаю. Прошло уже почти два года, а я каждое сегодня представляю, что стало с внутренностями гроба. Оголился ли череп, отросли ли волосы, какого они цвета? Как это вообще все выглядит? Может, и хорошо, что я не знаю. В сущности, самое главное, чтобы покойник лежал на восток.

Пока шла до метро, хлопками проверяла карманы. Мало кто так умеет. Честно говоря, идти мне было особо некуда, но не идти никуда еще хуже. Решила, как

всегда, поехать в центр, а там посмотрим. Переводить все равно нечего, преподавать некому, а платить за закут только через две недели. Может, кто-нибудь опять откажется от проекта, и я возьму, как беру все, от чего отказываются. Я так на лестничной площадке однажды нашла оранжевую Ахматову, с ятями. Советский репринт эмигрантского издания, но все равно приятно. Книга, кстати, оказалась с родословной — на левом форзаце под протестным углом зиял инскрипт: «Отличнице Ане от Деда Мороза и его помощницы — Снегурочки, котора», и дальше — отек чернил. Хочется верить, что от Аниных слез — сложно представить более бездушный подарок для новой жизни. Я Ахматову не очень люблю. Она пишет красиво, но не то.

За туда-обратно в метро не произошло ничего интересного. В городе тоже было как-то нервно и безразлично, может, из-за погоды. А может, из-за меня. Единственное только — странное дело — в том букинисте, на Кузнецком, как-то сонно, видимо от безнадёги, упал мне прямо в руки очередной дореволюционный отказник — с покоцанной кофейной кожей и затершимся ликом. Ни буквы не разобрать. Зато на обеих сторонах форзаца, дважды зараз, клерикально черным пером было высечено — Камо грядеши? Ладно бы один раз, тут понятно: название, утопленное в обложке, вынырнуло с другой стороны. Но второй вопрос как будто в душу глядел. Куда

идешь? Я смотрела в эту рябую бумагу, как в зеркало, и безответно молчала. Куда иду? Господи, да разве ж я знаю? Куда-то туда, куда давно не надо.

Книгу эту, наскоро сунутую продавщицей в замызганный файл, я тоже усыновила, обменяв на тысячу, свернувшуюся калачиком в кошельке. Всунула ее в утробу сумки, пахнувшей переспелыми бананами, и грубой резиной скатилась по лестнице. Два года. Не верится, что уже почти два года. Хочется все забыть, распомнить, развидеть. Особенно кликушу эту на похоронах, в веселой махровой шапке. Милая, да как похожа-то, а, как похожа! Вылитая бабка! Все что угодно, когда угодно, но только не тогда. Справедливая, но неместная фраза эта застряла в моей голове, навсегда въелась в розовое сало и продолжает напоминать мне тот самый момент, когда я вдруг, своими же глазами, увидела, как батюшка прочтет разрешительную молитву — надо мной. Как будут хоронить меня. Вот, стало быть, ради чего нужны старики и отпевания: там почти любой уснувший невидимо стучит своим морщинисто-скрюченным указательным пальцем по левой руке, напоминая пришлым, что времени не так уж много. И что камо грядеши.

С тех пор я каждый день боюсь умереть. Каждый день слышу, прямо через многоэтажность кожи, как ухает, колотится мое сердце, чувствую, как переключаются его клапаны, режимы. Как качается на-

электризованная машинная кровь. И так жутко от того, что дергается только лево, без право. Сразу думаю про половинчатый паралич, я видела его однажды. Ведь тот человек, засыпая, наверняка не предполагал, что завтра окажется еще не там, но уже не тут — прямо как сестрин ухаль. Что ложе придется делить с умершей половиной себя — и не привыкать, если который год спишь с тем, кого давно разлюбил. Это я видела не раз.

У всякого стука — функция страха и освобождения. Вот, еще одна секунда твоей водянистой жизни прошла, бездумная и подловатая. Кардиолог говорит, что нормальный человек свое сердце не слышит, но я слышу постоянно, стало быть, все подозрения в собственной унтерменшности вполне оправданы говором крови. А ей все нейдет, заразе. С разбегу бьется в покатые грязноюдные стенки, в истерике что-то лепечет, пытаюсь то ли предупредить, то ли напугать. Даром что привыкла обходиться без кислорода.

Иногда посреди ночи я нахожу свое тело проснувшимся в позе трупа, на спине, со сложенными на груди руками. Говорят, так спят буддистские монахи. Довольно символично, учитывая, что *memento mori* — моя ежедневная, облюбованная медитация. Я это делаю неосознанно, в приступе паники разума, считающего смерть крайне несправедливым изобретением, ведь она забирает сознание, на чью про-

стройку уходит целая жизнь. Сознание, в отличие от кожи, не стареет — я точно знаю, — оно может только взростеть. Старики, под конец открывшие Еврипида, — разве не пример? А отправить к скучающим праотцам то, что еще не выросло и не вырастет, потому что дверной плинтус всегда будет выше, может только фанатичный детоубийца. И эта неуютная мысль лезет мне под ногти с ежедневным исключением солнца, со скоростью тех живчиков цвета прокисшего кефира, что древние греки сравнивали с пеной. К этому регулярному ментальному онанизму я уже привыкла. Какая, в сущности, разница, кто умрет первым — я или мир. Без меня его попросту не будет существовать. Он взорвется и истлеет прямо в моих потухших глазах. Интересно, кто их будет закрывать.

Сны я вижу соответствующие, если вообще их вижу. По большей части они пустые и темные, как у новорожденных, а все персонажи там почему-то грустные, озадаченные, словно не могут вспомнить, закрыли ли дверь на ключ, когда утром выходили из дома. Расскажу один, мой любимый. Я стою где-то в районе Китай-города, на одной из его тихих улиц со вспенившимся асфальтом. Предзакатное лето, теплынь, вокруг ни души. Пахнет прогретым железом. Все бы хорошо, только я сильно нервничаю, переживаю, неприятно прею, потому что прямо сейчас

мне надо сделать какой-то сложный выбор, решить какой-то свербящий вопрос в духе Иова, или — или. Хоть убей, не помню, в чем было дело. Решаю кинуть монетку, отписав каждому из вариантов по одной из ее личин. Мы ведь так делаем не чтобы довериться выбору, а чтобы узнать у глубины себя уже принятое решение. Потому что пока монетка крутится в воздухе, мы просим ее упасть какой-то определенной стороной — то ли решкой, то ли орлом, смотря что чему раздали. В конце концов, и пророки бросали жребий. И вот я, сощуриив глаза, с залетом правой руки и стуком в сердце подбрасываю монету вверх, приготовившись к слову стального оракула. Проходит секунда, две, три, а монеты все нет. Испуганно поднимаю глаза и начинаю всматриваться в слепящую тишину. Пусто. Так, с запрокинутой головой и с фокусом на всполохах умирающего дня, я простояла во сне несколько часов, пока не стемнело. Монета так и не вернулась. Русская поэзия бы на это сказала: ответ один — отказ.

Я помню это саднящее ощущение собственного бессилия сразу после пробуждения. Выбор не сделан, монеты нет. Я понимаю, что во сне все всегда на своих местах, это система закрытая, герметичная. И если я подкинула монетку, то там, на условном верху, кто-то с детской забавой ее поймал, лишив меня определенности и решения. Или — или? А может, ни — ни? Может, монета не вернулась, потому

что есть другой, третий путь? Или правда за бездействием? Но гадать смысла нет, хоть я и продолжаю — переменные не заданы. Сон вполонину недостроен или забыт. Но в небесной татьбе сомнений нет, святые сподличали. Кстати, не в первый раз.

Много чего в моей жизни приснилось, случилось и пережилось, и психолог, которого у меня нет, посоветовал мне найти доброжелобного собеседника и устроить с ним что-то вроде эпистолярной исповеди. Или писать самой себе, как говорится, в стол. Была идея завести дневник и скидывать правды туда, но на него нужен земной покой, а у меня его с лобик кошечки. Да и если вести, то только как государь император, по-аглички и чернилами, а самое страшное выводить карандашом. Но английский я никогда серьезно не воспринимала — мой отец читает на полу-нём свои фиолетовые веления. Лет двадцать пять — тридцать назад, то есть приблизительно как раз к моменту моего рождения, он вдруг отделился от чистокровного христианства и присоединился к какой-то американской секте, восстановившей якобы утерянные учения Иисуса Христа о карме и реинкарнации. Странно это. Мой отец ненавидит Америку.

Из его рассказов мало что ясно. Ребенком он жил с матерью матери и почти ежедневно прищуренным глазом наблюдал, как она прячет икону Николая Чудотворца, завернутую в марлю, в кухонные